

Новая газ. - 2004. - 24-27 июня. - с. 21.

С Татьяной Назаренко мы познакомились в 1992 году, когда она очередной раз потеряла веру в себя и в мировую гармонию. Ее как раз на славу обшопали в Америке, по сути дела, украсив ее лучшие картины — на большие тысячи долларов. По этому поводу она сильно загуляла. Встреча наша состоялась на какой-то даче, среди полужнакомых людей, в ходе общего братания и активных брудершафтов. Взгляд ее сияющих глаз исполнен был хищного дружелюбия, словно у кошки с валерьянки. За каким-то чертом мы целовали друг друга руки, взаимно исповедуясь, горячо и сладко. Между нами возникло подобие любви.

На обратном пути в электричке Таня пошла по вагону, на фольклорных регистрах выводя: «Вот умру я, умру, похоронят меня». Мою маленькую дочку она вела при этом за плечо, отчего та хныкала и молила: «Не позорь меня!»

Я тогда не знала, что разудалое чудо в перьях — профессор живописи, академик, всяческий лауреат, всемирно известный художник. Но то, что это мой человек, было, разумеется, ясно.

До юбилеев и ей, и мне было тогда, как до Луны.

— Если начну все рассказывать, тут же буду плакать.

— Ты ж вся в шоколаде, чего тебе плакать?

— Это снаружи — сказка...

У меня бабушка была, любящая, я с ней всю жизнь прожила, до второй беременности. Обожаю ее, как и я ее, предана мне была бесконечно. Дела расстреляли, бабушка всю жизнь проработала акушеркой; может быть, от этого в ней столько было нежности и добра. Ее последние слова были: «Бедная моя...»

— Что еще мы можем сказать на прощание своим детям? Кто они у тебя?

— Николка, старший, был у меня панком. Все мы имели

— подвалы, выбитую голову, разные приключения... Как я да выжила, сама не знаю.

— А кто он сейчас?

— На таможне работает.

— Типа Руссо?

— Да уж, типа. Сперва мы

в Строгановку собирались. Но он мне поставил условие: пойдет на экзамен только за пятьдесят рублей. Господи! Смотрю на вступительных — катастрофа. И ужасно много девчонок. Плохо, не женская это профессия. «Казнь народовольцев» я писала беременная, лазила с пузом под потолок, здоровая штучка-то, три на три почти. Натягивать, потом волохать эти холсты... Как его поднять? Или фанеру мою. Руки-то, как у грузчика.

— И в литературе то же самое, одни тетки.

— Я думаю, искусство перестало играть важную роль — и мужчины из него ушли.

— Феминистки бы тебя растерзали.

— Я, честно говоря, путаю, чего они хотят, — то ли мы наравне с мужчинами, то ли мужчины — вспомогательный элемент...

— А твой Саша?

— Без него я бы не осилила многие вещи.

— Но он-то как себя чувствует в роли «ее мужа»?

— Когда приглашают «Назаренко с супругом», наверное, обидно. Но он как-то глубоко вошел в эту роль. Опекал меня страшно, следил, чтоб не пила... Ну вот мы и зашли в тупик... Не записывай, сейчас плакать буду.

— Сменили тему. Ты когда-нибудь работала на заказ? Я имею в виду конъюнктуру. Допустим, «Казнь партизана»?

— К твоему сведению, эта «правовая» картина была снята с выставки. Тогда убили Витю Попкова, моего близкого друга. У человека, которого вынимают из петли, — его лицо. Что ощущает женщина, прикасаясь к любимому мертвому телу? И много других вещей, включая такие архетипы, как горе Богородицы. Попкова, впрочем, никто не узнал, зато выставку привиделся убитый Ленин...



Таня в горьком шоколаде

Одиночество художника, чья живопись набита людьми

— Искусствоведы много пишут о твоём мощном историческом начале, «глубоком историзме». Вот что, собственно говоря, вообще тебе «Гекуба» — народовольцы, декабристы, Пугачёв?

— Во-первых, я не считаю эти работы историческими. Только отчасти это реконструкция события. Пейзаж, одежда там или вещи, которые принадлежали декабристам. Мне важно высказаться по какому-то поводу, самой понять какие-то связи... Конечно, «Казнь народовольцев» связана с великим актом протеста на Красной площади. Перовская у меня — центральный персонаж. Горбачёвская, Богораз... Женщина на эшафоте — вот главное и самое драматичное в этой истории.

— Ты изучаешь историю вопроса?

— Да ты не представляешь, как! Горы документов, причем вокруг этого творятся потрясающе интересные вещи. Например, форма милицмейстерской до 1970 года, когда я начала работать над этой картиной, была полна повторением жандармской. Вообще, виселицу окружали несколько родов войск. Гренадеры с плечами, семеницы в папах... Я сперва пыталась все это изобразить. Но как ни делаешь — все как-то оперетта. Папахи эти на холсте давят безумно, нарушают всю композицию. Спраши-

— Да! И я, буквально трясаюсь от счастья, все переписываю... О народовольцах в Историческом музее ведь почти ничего нет. У них же лозунг был «Убий тирана». В те годы, сама понимаешь, неактуальный... Да и теперь. Сейчас эта работа в Третьяковке, ее реставрируют, и из-за этого, говорят, не показывают. Но я не уверена, что ее вообще выставят когда-нибудь.

— Ты много конфликтовала с начальниками?

— Тут довольно дикий нонсенс. Я ведь за «Народовольцев», в которых вкладывала такое содержание, получила премию Ленинского комсомола. Бред. Все решили, что я — очень правильный официальный художник, и стали записывать меня во все комиссии, правления, художсоветы, выдвигали на всякие съезды — в общем, годам к тридцати я была

уже очень титулованная дамочка. Таких не любят. Со мной не то чтобы не здоровались, но смотрели очень косо.

— Свой среди чужих...

— Вот-вот. Ну а потом-то началось — работы снимали с выставок, и я зажила нормальной жизнью. Где-то с 80-х. С 82-го, когда я стала невыезженной. Меня даже на открытие моей выставки в Гамбурге не пустили.

— С чем ты это связываешь?

— Наверное, с «Пугачёвым». Ах, до чего роскошно эта картинка висела! Одна на стене, на коричневом бархате... Накануне открытия меня вызывают в управление культуры: вы как молодой художник должны сами снять вашу работу. У меня челюсть отвисла. Она уже

честно. Большая, осмысленная живопись... Чего от этого добра искать какого-то другого? Зачем тебе понадобилась новая профессия?

— Это не профессия. Это забава. Хуже, что сейчас действительно время дилетантизма и легко выдать всякое шарлатанство за «концепт». Я, конечно, никакой фотограф. Но есть вещи, которые бессмысленно писать. Например, еврейское кладбище, которое своими вертикальными формами напоминает силуэт Манхэттена. Не буду же я это писать? И самой лечь голой на мокрый асфальт, чтобы понаощущение бездомности, совсем не то же самое, что нарисовать это. И потом, мне

стой, гладкой фанеры, какой я сразу не видала. На одном листе я тут же написала портрет в рост — и подумала: как бы хорошо всю лишнюю фанеру отрезать, чтобы ничего больше не записывать... Сказано — сделано. Потом мужа написала. Выпили. Как хорошо! Ни холстов не надо, ничего. И у нас, поди, фанера-то есть, пусть не такая шикарная. Вот так родился «Переход». Такая игра в нашу жизнь — 120 фигур, 120 персонажей российской действительности. Потом я сделала такую же выставку «Мой Париж». Уже поменьше, штук тридцать — парижские типы. Ах, какой там был банкет!

— Ты — тусовщица?

— Приглашают... Ну хожу в какие-то милые места, к милым людям. И трачу на это, наверное, больше времени, чем надо. Знаешь, почему? От одиночества. Я накликала это одиночество, потому что в молодости очень его боялась и много об этом болтала. И вот я — абсолютно одинока. Дети во мне уже не нуждаются. Муж — тоже. Друзья... Их все меньше.

— А кто не одинок? Художник, тем более твоего калибра, вообще живет в виртуальном измерении, так мне кажется. Когда ты пишешь — какое к черту одиночество!

— Знаешь, что я поняла?

Ведь то, что я делаю, абсолютно никому не нужно.

— Таня, это нормальный комплекс любого, кто занимается искусством, то есть самовыражением. Ты же не Никас Сафронов. Нужны людям пиво, прокладки, мобильники и сериалы. Даже информация — уже в меньшей степени. Нужды, то есть «народное благо», — не наша с тобой забота. На наши ответы ни у кого нет вопросов. Одиночество — по-моему, не только самое правильное, но и самое комфортное состояние художника. Тебе-то самой так ли уж нужна толпа поклонников со всеми их приглашениями по три на день?

— Я люблю, когда другие веселятся. Люблю грамотную гулянку, когда вокруг всем хорошо, все пляшут, пьют и поют. Но я не знаю, о чем говорить с людьми. Мне интересно их рассматривать — как объекты. Моя живопись набита людьми, их сотни, тысячи... Я чего-то устала от них. Я стараюсь теперь писать картины без персонажей — сараюшку какой-нибудь, стеночку... Вот сейчас меня страшно угнетают мой так называемый юбилей (жуткое слово), вся эта суета... Тут открывали юбилейную выставку одной художницы из моего «призыва», и союзный деятель говорит: «Вот и первый из наших девушек исполняется 60 лет!». Молодец Наташка Нестерова — взяла и укатила на свой юбилей в Венецию. Есть магия чисел...

— Если честно, на сколько лет ты себя чувствуешь?

— Ну так лет на... тридцать. Если выплосну. Когда в деревне на велосипеде несешься, ветер в лицо, волосы столбом... Иногда, знаешь, приходится себя одергивать: все же дама, не девочка все же... У меня есть очень смешная внучка, блондиночка с голубыми, но раскосыми глазами, в маму-бурятку. Ей семь лет, она меня называет «Таня», и по возрасту она мне, в общем, намного ближе, чем многие мои ровесницы.

— Ну вот, я же говорила — в шоколаде.

— Но согласишься — в горьком...

● Алла БОССАРТ, обозреватель «Новой»

ЮРИЙ РОСТ